

Быть хирургом. Записки старого врача

Автор:

Николай Пирогов

Быть хирургом. Записки старого врача

Николай Иванович Пирогов

Записки врача

Этого врача по праву называют отцом русской хирургии. В 18 лет он окончил Московский университет, а в 26 стал профессором. Ученый-анатом, естествоиспытатель и военный хирург, он побывал на Крымской и Кавказской войнах, спас тысячи жизней, впервые применил эфирное обезболивание и гипсовую повязку.

В книгу вошли письма и дневниковые записи, посвященные описанию трудовых будней первого русского хирурга.

Николай Иванович Пирогов

Быть хирургом. Записки старого врача

Жить на белом свете – значит постоянно бороться и постоянно побеждать.

Н. Пирогов

Все разъясняется, все делается понятно – умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощрять чувства, научись правильно наблюдать, тогда исчезнут перед тобой чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной сделается таким же обыденным фактом, каким сделалось

теперь для нас все то, что прежде считалось недоступным и сокровенным.

Такое убеждение с каждым днем все более проникает в сознание не только передовых людей, жрецов науки, но и целых масс.

Н. И. Пирогов

Дневник старого врача (1879–1881)

писанный исключительно для самого себя,

но не без задней мысли, что, может быть,

когда-нибудь прочтет и кто другой

5 ноября 1879 – 22 октября 1881

5 ноября 1879

Отчего так мало автобиографий? Отчего к ним недоверие? Верно, все согласится со мною, что для мыслящего, любознательного человека нет предмета более достойного внимания, как знакомство с внутренним миром, бытом каждого мыслящего человека, даже и ничем не отличавшегося на общественном поприще.

Какой глубокий интерес заключается для каждого из нас в сравнении собственного мировоззрения с взглядами, руководившими другого, нам подобного, на пути жизни. Этого, конечно, никто и не отвергает; но издавна принято узнавать о других чрез других. Верится более тому, что говорят о какой-либо личности другие или ее собственные действия. И это юридически верно. Для обнаружения юридической, т. е. внешней, правды – и нет иного средства. И современный врач при диагнозе руководствуется не рассказами больного, а объективными признаками, тем, что сам видит, слышит и осязает.

Да кроме недоверия к автобиографиям, есть, я думаю, и другие причины, почему они так мало в ходу. Мало охотников писать свои автобиографии. Одним целую жизнь некогда; другим вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядеться на свою жизнь, не хочется вспомнить прошлого; иные – и из самых мыслящих – полагают, что после изданных ими творений им писать о себе более не нужно; есть и такие, которым действительно писать о себе нечего: все будет передано другими; наконец, многих удерживают страх и разного рода соображения. Разумеется, в наше скептическое время доверие к открытой исповеди еще более утратилось, чем во времена Ж. Ж. Руссо. С недоверчивою улыбкою читаются теперь его смелые слова (которыми я некогда восхищался): «Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre a la main, me présenter devant le souverain – juge. Je dirai hautement: voila – ce que j’ai fait, ce que j’ai pensй, ce que je fus»[1 - Н. И. Пирогов переводит эту фразу так: «Пусть звучит труба страшного суда, я предстану с этой исповедью пред Верховным Судьею и громко воскликну: вот каков я был здесь, вот что я делал, вот как я мыслю!!!» (фр.).]. Но автобиографии в наше время и нет надобности быть исповедью перед Верховным Судиею; а Ему, Всеведущему, нет надобности в нашей исповеди. Современная автобиография не должна быть, однако же, чем-то вроде юридического акта, писанного в защиту или обвинение самого себя перед судом общественным. Не одна внешняя правда, а раскрытие правды внутренней пред самим собою – и вовсе не с целью оправдать или осудить себя – должно быть назначением автобиографии мыслящего человека. Он не постороннего читателя, а прежде всего собственное сознание должен ознакомить с самим собою; это значит – автобиограф должен уяснить себе критическим разбором своих действий их мотивы и цели, иногда глубоко скрывааемые в тайнике души и долго непонятные не только для других, но и для самого себя.

Но вот вопрос: может ли автобиограф говорить правду о своих, для него прошлых, мотивах? Может ли он справедливо оценить, что руководило некогда его действиями? Может ли он наверное сказать, что его мировоззрение было именно такое, как он пишет, а не другое в данную минуту его бытия?

Я полагаю, что эти вопросы решаются различно, смотря по характеру, способностям и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для уверенного в себе без тщеславия существует и непоколебимая уверенность, что именно такое, как он пишет, а не иное было его воззрение, когда он совершал то или другое дело. Если же я сам уверен, что он говорит правду без притворства, то больше от человека нельзя и требовать. Неужели же тот, кто хочет знать мотивы моих действий и мое мировоззрение того времени, когда я действовал, поверит более другим или самому себе, нежели мне? Он, или кто другой, может

судить о внутреннем механизме моих дел только по этим же самым делам или по свидетельствам посторонних мне лиц; а суждения по нашим делам и посторонним свидетельствам о скрытом внутреннем механизме дел требуют известной ответственности и не признают противоречий, хотя всякий из нас знает по опыту, что наши действия зачастую противоречат нашим собственным мировоззрениям, верованиям и убеждениям. Весьма часто также случается, что наши грандиозные дела вызываются на свет весьма слабыми мотивами, и наоборот; поэтому и требование ответственности не может еще быть порукою за внутреннюю правду.

Критический анализ собственных действий и их мотивов, столь трудный для нас самих, неужели доступнее для других, вовсе незнакомых с нашим внутренним бытом?

Правда, иногда посторонний нам сердцевед вернее нас самих может угадать, почему мы в данном случае поступили так или иначе; правда, что мы не судьи самим себе; но открыть неведомый для нас самих мотив нашего действия можно только в двух случаях: во-первых, когда мы сами скрытничаем или притворяемся перед нашим собственным «я»; во-вторых, когда мы сделали что-либо в минуту забвения или увлечения, не справившись, что делалось в эту минуту внутри нас, не заглянув в себя. Если же принцип: никто не может быть собственным судьей – и верен, то он относится только до правды внешней – юридической; судебный следователь и прокурор, конечно, могут изобличить притворщика и лгуна легче, чем это сделал бы он сам. Но для внутренней правды нет других более верных и компетентных судей, чем мы сами, когда мы не притворщики и не лгуны. Все, следовательно, сводится на то, кто такой тот, кто обнаруживает свой внутренний быт; суждение об этом, по малой мере, так же трудно, как и суждение о посторонних лицах, взявших на себя обязанность обнаружить внутреннюю сторону какого-либо деятеля. Даже и тогда, если он заведомо был иногда лгуном и притворщиком, еще не доказано, что он был всегда таким. Есть случаи в нашей богатой противоречиями жизни, что именно лгун и притворщик в известные моменты бытия делается более способным сказать о себе слово правды, чем другие, знавшие его только извне. В этом не более противоречия, как и в том, что подлец иногда способен бывает на честнейшее дело, а честнейший человек делает иногда крупную подлость.

Для кого и для чего пишу я все это?

По совести – в эту минуту только для самого себя, из какой-то внутренней потребности, хотя и без намерения скрывать то, что пишу, от других. Пришел на мысль писать о себе для себя и решившись не издавать в свет о себе ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мне читались, когда меня не будет на свете, и другими. Это – говорю положа руку на сердце – вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть критикованным, осмеянным или вовсе нечитанным. Хотя я и немало самолюбив и небезразлично отношусь к похвале, но самое самолюбие все-таки более внутреннее, чем внешнее. Притом я – эгоистический самоед, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описание моего внутреннего быта во всеуслышание не было принято мною самим за тщеславие, желание рисоваться и оригинальничать, а все это, в свою очередь, не повредило бы внутренней правде, которую я желал бы сохранить в наичистейшем виде в моих записках. Я, как самоед, знаю, однако же, что нельзя быть совершенно откровенным с самим собою, даже когда живешь в себе, так сказать, нараспашку. Иногда, ни с того ни с сего, приходят мысли до того низкие и подлые, что при первом своем появлении из тайника души невольно бросают в краску, – иногда даже чувствуешь, как будто эти мысли не твои, а другого – самого низкого существа, живущего в тебе. Апостол Павел уже давно заметил, что не хочешь делать зло, а делаешь его нехотя[2 - Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим. 7, 19)]. Великая правда! И еще чаще замечаем это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь, – и беда, если вначале же не убережешься, не подметишь самого себя и впору не остановишься.

Итак, я, как и другие, не могу при всем желании вывернуть свой внутренний быт наружу пред собою, сделать это начисто, ни в прошедшем, ни в настоящем. В прошедшем я, конечно, не могу пред собою поручиться, что мое мировоззрение в такое-то время было именно то самое, каким оно мне кажется теперь. В настоящем – не могу ручаться, чтобы мне удалось схватить главную черту, главную суть моего настоящего мировоззрения. Это дело нелегкое. Надо проследить красную нить чрез путаницу переплетенных между собою сомнений и противоречий, возникающих всякий раз, как только захочешь сделать для себя руководящую нить более ясною.

И вот я, для самого себя и с самим собою, хочу рассмотреть мою жизнь, подвести итоги моим стремлениям и мировоззрениям (во множественном – их было несколько) и разобрать мотивы моих действий. Стой, однако же! На первых же порах! Не притворничаю ли с самим собою? Точно ли хочу писать только для себя? Если я и решил, чтобы писанное о себе осталось при моей жизни необнародованным, то разве я не желал бы, чтобы оно прочиталось когда-

нибудь и другими, хотя бы, например, моими детьми и знакомыми? Жена же, верно, уже прочтет. Если же я этого не хочу, то, значит, все-таки даю себе повод, хотя перед самыми близкими людьми, да все-таки порисоваться и что-нибудь скрыть или поддурманить. Самоеду это сейчас же приходит на мысль. И это хорошо, что приходит на мысль. Как только это имеется в виду, то есть надежда и на достаточное противодействие. Ведь самоедство не допустит меня, чтобы я не следил за собою во время моей работы с самим собою; следя же, подмечу; а, подметив, остановлюсь и не дам простору притворству и скрытности. Впрочем, я заранее знаю, что цинически откровенным я и пред самим собою не хочу быть. Чистоплотность нужна не напоказ только. Цинические поступки в жизни лучше оставить, не трогая и не подвергая анализу, – это лучше для самого себя; иначе попадешь в ретирады души и оттуда напустишь вони и в то, что искренно хотелось бы оставить чистым, как оно есть на самом деле. У нас у всех на дне души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потом сам не отличишь чистого от грязного. Но, разумеется, если цинизм и душевная нечисть были мотивами какого-либо действия, повлиявшего на всю жизнь, то поневоле не минувешь заглянуть и в ретирады.

Но способен ли я писать о себе для себя?

Опять вопрос: что нужно для этого?

Главное – откровенность с самим собою.

Наверное я могу про себя сказать только то, что я не скрытен с собою; ведь есть люди, скрытничающие более с собою, чем с другими; я не принадлежу к ним, хотя и со мною случалось, что я открывался себе только после того, как был откровенен с другими; случалось, что, сообщая откровенно другим что-либо вслух, начинаешь как будто лучше понимать, что делается внутри тебя самого. Иногда только тогда узнаешь хорошенько, что делается у тебя, когда разговоришься о себе с другим. Иногда стыдишься себе признаться в том, что на душе, пока случайно как будто (хотя и вовсе не случайно) не расскажешь другому вдруг с какой-то цинической откровенностью вслух, что скрывал от себя.

Записки, которые веду теперь о себе, заменяют в таком случае неоткровенности с самим собою, сообщение или разговор с другим; бумага заменяет другое лицо; к записке, хотя и собственной, относишься объективнее, чем к мысленной

беседе с собою. Пиша, делаешься смелее с собою и притом не даешь мысли распускаться в разные стороны и бродить; мысль при записывании превращается в нитку и ловчее тянется из мозга, чем при размышлении, без письма.

Итак, я надеюсь, ведя мои записки, быть не менее, а гораздо более откровенным с собою, чем в задушевных излияниях с другими, хотя бы и с самыми близкими к сердцу людьми.

Второе условие, чтобы быть (правдивым) истинным автобиографом для самого себя, – это хорошая память. Для беспмятного, хотя бы остроумного и здравомыслящего человека его прошедшее почти не существует. Такая личность может быть весьма глубокомысленная и даже гениальная, но едва ли она может быть неодносторонняя, и уже, во всяком случае, ясные и живые ощущения прошлых впечатлений без памяти невозможны. Но память, как я думаю, есть двух родов: одна – общая, более идеальная и мировая, другая – частная и более техническая, как память музыкальная, память цветов, чисел и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно и удерживает различного рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события, пережитые каждым из нас. Глубокомысленный и гениальный человек может иметь очень развитую память, не обладая почти вовсе общею памятью.

Моя память общая и в прежние годы была острая. Теперь же, в старости, как и у других, яснее представляется мне многое прошлое, не только как событие, но и как ощущение, совершившееся во мне самом, и я почти уверен, что не ошибаюсь, описывая, что и как я чувствовал и мыслил в разные периоды моей жизни. Но память для прошлых ощущений и составившихся из них убеждений, мыслей и взглядов, может быть, и не есть та, которую я называю общею памятью. Она, может быть, так же как и память звуков, цветов и т. п., специальная, так сказать, техническая, и не всякий одарен ею; память собственных ощущений требует сверх того еще и культуры. Такая культура именно и рождает в нас самоедство. К этому, т. е. к развитию самоедства, необходимо еще и внимание, сосредоточенное на собственные ощущения и их дальнейшее развитие. Вообще, запоминается хорошо только то, на что обращено внимание. Внимательность – необходимый атрибут памяти. Но и внимание, и память не всегда сознательны; первое, впрочем, редко не сознательно, тогда как память, именно специальная (техническая), нередко, и даже зачастую, действует для нас бессознательно. Мы многое запоминаем и многому внимаем невольно и незаметно для нас самих. Нередко, вспомнив что-

нибудь, удивляешься, когда успел это припомнить.

Как остаются в мозгу почти целую жизнь некоторые ощущения и воспоминания не только о прошлых событиях, но и еще и воспоминания об ощущениях, испытанных нами при давно прошедших событиях, – трудно себе представить. Мозг, как и все органы, подвержен постоянной смене вещества; атомы его тканей постоянно заменяются новыми, и нужно предположить, что атомы его, заменяясь при смене вещества другими, новыми, передают им те самые колебания, которым они подвергались при ощущении различных впечатлений. И вот мягкая мозговая мякоть ребенка, уплотняющаяся и изменяясь в ее физических свойствах, продолжает задерживать отпечатки самых ранних ощущений и впечатлений и передает эти ощущения нашему сознанию в старости еще живее и яснее, чем прежде, в зрелом возрасте. Не говорит ли это в пользу моего взгляда (несколько мистического), что атомистические колебания (которые необходимо предположить при ощущениях) совершаются не в одних видимых и подверженных изменениям клеточках мозговой ткани, а в чем-то еще другом, более тонком, эфирном элементе, проникающем чрез все атомы и не подверженном органическим изменениям.

Замечательны также и бессознательные ощущения, остающиеся и не остающиеся в памяти. Наш внутренний быт составлен весь из постоянных, сознательно и бессознательно для нас беспрестанно колеблющихся и волнующих нас ощущений, приносимых к нам извне и изнутри нас. С самого начала нашего бытия и до конца жизни все органы и ткани приносят к нам и удерживают в нас целую массу ощущений, получая впечатления то извне, то из собственного своего существа. Мы не ощущаем наших органов; мы, смотря на предмет, не думаем о глазе; никто в нормальном состоянии ничего не знает о своей печени и даже о беспрестанно движущемся сердце; но ни один орган не может не приносить от себя ощущений в общий организм, составленный из этих органов. Ни один орган, как часть целого, не может не напоминать беспрестанно о своем присутствии этому целому. И вот эта вереница ощущений, извне и изнутри, без сомнения, известным образом регулированных, и потому скажу лучше – свод (ensemble) ощущений и есть наше «я», в течение всего нашего земного бытия. Что такое наше «я» без этих ощущений – этого мы не можем себе представить; но и не можем не допустить возможности существования ощущающего начала без ощущений. Одно «я» основано на опыте, другое – на логике; есть и третье, основанное на веровании. Декартово «*cogito, ergo sum*»[3 - Я мыслю, следовательно, я существую (лат.)] может быть без ошибки заменено «*sentio, ergo sum*»[4 - Я ощущаю, следовательно, я существую (лат.)]; ибо слово «ощущаю» наше «я» может сказать и не мысля. «Я есмь» не есть продукт

мышления, а ощущения, т. е. чувства – не мысли, – что существую. Правда, младенец, делающий первый вздох, вышед на свет, не говорит еще: я существую, хотя, без сомнения, ощущает, вбирая в себя впервые воздух, нечто для него новое; но более сознательное чувство существования, приходящее к ребенку постепенно, без сомнения, не есть продукт мышления, а более регулируемое и окрепшее ощущение, приносимое извне и изнутри его органами.

Декартово «я» мышления есть нечто другое; но гораздо прежде, чем произнесется нами это осмысленное и продуманное «я есмь», мы уже успеваем добраться посредством одних ощущений и представлений (но не мышления) до нашего самоощущения и выразить его. Дело в том, что сознание нашего «я» приходит к нам бессознательно; мы до этого сознания вовсе не додумываемся. Сознание бытия собственной личности не есть достояние одной человеческой природы; оно обще нам со всеми животными; как бы животное могло защищать себя, отыскивать пищу, вести борьбу за существование, если бы в нем не было сознания своей личности? Но полное уяснение себе своего «я» словом «sum», «есмь», конечно, может проявиться только в таком существе, как человек, т. е. одаренном словом и способностью производить в уме членораздельные звуки и комбинировать их в уме же в слова. Эти две способности и мысль – одно и то же; без слова нет мысли, без мысли нет слова. Ощущение и представление превращаются в мозгу в мысль только посредством членораздельных звуков слова. Нет надобности, чтобы способность комбинировать из ощущений слова была непременно соединена с способностью говорить, т. е. произносить слова. Глухонемой мыслит по-своему и может понимать других, не имея способности произносить слова; он заменяет их в голове непременно подобными же членораздельным звукам знаками; а ощущение, необходимое для возбуждения этой способности к действию, доставляется ему, конечно, не органом слуха, а зрения и другими. Но, кроме органов чувств, и у нас, и у животных сознание не только личного бытия, но и ощущение всего приятного и неприятного, аффекты и страсти – возбуждаются всеми другими органами. Ансамбль (ensemble) ощущений, доставляемых всеми нашими органами (сообщающимися и не сообщаемыми с внешним миром, с нашим «не я»), и есть наше бытие, сущность которого, как и всего другого на свете, нам неизвестна.

В книгах старинных анатомов находим это высказанным чрезвычайно пластически:

Cor ardet, loquitur pulmo, fel movet iras,

Splen ridere facit, cogit amare jecur[5 - Сердце согревает, легкое говорит, желчь вызывает гнев, селезенка заставляет смеяться, печень учит любить (лат.)].

В наше время, когда наблюдения доказывают, что действия органов чувств и особенно глаза нельзя иначе объяснить, как приняв бессознательное (инстинктивное) мышление, нельзя более сомневаться и в том, что мы доходим до вполне сознательного грамматического «я есмь» не иначе, как путем еще задолго ему предшествующего бессознательного мышления. Но и это вполне сознательное мышление имеет свою бессознательную логику, требующую непременно, роковым образом, чтобы мы мыслили так, а не иначе, и притом, к нашему счастью, с полным внутренним убеждением, что мысль наша свободна. Она действительно свободна только у лишенных ума, да и у них эта свобода – другими словами, ерунда мышления, – вероятно, в зависимости от разных ненормальных ощущений собственного бытия, приносимых болезнью органов.

Но стараться убедить себя и других, что наши мысль и воля действительно несвободны, есть также своего рода безумие.

Против действительности ощущений ничего не поделаешь; если мы все галлюцинируем, то галлюцинации для нас уже не существуют; кто будет тогда разубеждать нас, что мы обманываемся? Да, еще есть возможность разубедиться, когда у всех нас галлюцинирует только один орган чувств: другие нормальные органы могут поправить ошибку. Но что поделаешь, когда у всех и все ощущения приводят к убеждению, что их мысли и воля свободны, когда на этом уже успели образоваться все основы жизни? Упорствовать в убеждении себя и всех в противном поведет в этом случае убеждающего мудреца к тому, что собственные его мысль и воля сделаются действительно до того свободными, что он будет готов к поступлению в дом умалишенных. Только с ненормальными ощущениями мы еще можем кое-как, да и то с трудом, бороться; с нормальными же, как бы они нам ни казались бессмысленными, борьба пагубна.

Между молодежью в последнее время встречались и такие личности, которые никак не хотели и настолько закабалить мысль, чтобы остановиться на дважды два – четыре. «Мысль моя свободна, – утверждали они, – и я хочу – приму, хочу – нет, какую ни на есть математическую аксиому». Этим лицам и в голову никогда

не приходило, что распушенность мысли и воли есть страшный недуг, от развития которого в себе должен беречься каждый из нас, кто не хочет покончить с собою самоубийством или домом умалишенных. Каждый настолько должен быть свободен, чтобы избрать для себя то или другое мировоззрение, но, избрав, должен на нем остановиться по крайней мере до той поры, пока заменит его другим, новым.

Установление известного *modus vivendi*[6 - Жизненного правила (лат.)] необходимо не только для согласия семейств, обществ и народов, но и для согласия с самим собою; а этого можно достигнуть только известным и более или менее определенным мировоззрением.

Не думаю, что кому-нибудь из мыслящих людей удалось в течение целой жизни руководствоваться одним и тем же мировоззрением; но полагаю, что вся умственная наша жизнь, в конце концов, сводится на выработку, хотя бы для домашнего обихода, какого-либо воззрения на мир, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мешает установлению *status quo*[7 - Исходного положения (лат.)], но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрез целую жизнь и не перестает руководить, как и управлять, более или менее нашими действиями. Колебания и сомнения при этой разработке, конечно, неизбежны, но они далеко не те, которые обременяют человека, считающего для себя остановку на чем-нибудь определенном нарушением свободы мысли и воли.

Рассматривая мою жизнь, я опишу несколько мировоззрений, которым я следовал, останавливаясь на них более или менее продолжительное время; полагаю, что мне удастся также выяснить для себя и то, почему я принимал их и следовал им; теперь же постараюсь уяснить себе то мировоззрение, на котором я, как кажется, уже окончательно остановился; приведу покуда только часть моего настоящего мировоззрения, относящегося до моего взгляда на основы нашего бытия.

Остановиться мыслию на вечно движущихся и вечно существовавшим атомам я не могу теперь, хотя и мог прежде. Мой ум впадает в безысходное положение в обоих случаях, то есть когда он хочет себе представить эти атомы бесконечно делимыми и бесформенными или же ограниченными и имеющими известный вид. Бесконечно делимое, движущееся и бесформенное само по себе как-то случайно делается ограниченным, оформленным и спокойным: это так несовместимо в моем уме, что я не могу на нем остановиться. Мне невозможно также остановиться на атомах, размельченных в какие-то крупинки, шарики,

математические точки и т. п. Если вся вселенная переполнена этими непроницаемыми, т. е. сохраняющими главное свойство вещества, атомами, – и между тем они должны находиться в беспрестанном движении, то где же, в чем и как совершается их движение? Мой слабый ум, производя свой анализ вещества, деля и разлагая его атомы, никак не может на них остановиться и незаметно, невольно переходит от них, в конце концов, к чему-то другому, имеющему все отрицательные свойства материи; мой умственный анализ роковым образом приходит к необходимости принять вне атомов нечто проникаемое и все и всюду проникающее, неделимое, бесформенное, вечно движущееся и именно этими своими свойствами сообщающее, движущее, скопляющее, рассеивающее атомы, образующее тем формы вещества и, само проникая в них и чрез них, принимающее (так сказать, укладываясь в них) на себя, хотя бы и временно, тот или другой вид, смотря по тому, в какую и чрез какую форму материи оно проникает.

Перенося мой анализ на органические вещества и на самого себя, я невольно спрашиваю себя: откуда могла взаться способность органического мира ощущать и сознавать свое бытие? Основные его атомы, как бы я их себе ни представлял, останутся для меня все-таки бесконечно делимыми, непроницаемыми и т. п., то есть имеющими такие свойства, которые не объясняют мне их способности ощущать и сознавать себя; необходимо будет допустить, что от века веков существуют и атомы, одаренные этими свойствами, и своим скоплением в одно целое образующие, чувствующие и сознающие свое существование организмы. Мой ум не допускает, чтобы одна группировка атомов в известные формы (как, например, мозговые клетки) могла их сделать, eo ipso [8 - Этим самым (лат.)], способными ощущать, хотеть и сознавать, если бы в них не была вложена способность к ощущению и сознанию.

Вот это основное начало – этот-то элемент чувства, воли и сознания, самый основной [элемент] бытия, – начало, без которого мир не существовал бы для нас, – мой умственный анализ и отыскивает за пределами атомов, – в том, что он по необходимости признает существующим вне их и имеющим отрицательные, т. е. противоположные атомистическим, свойства, без которых и положительные свойства материи для нас были бы несуществующими.

Это отвлеченное, как и самые атомы, произведение умственного анализа, основанное на природной способности ума переносить свои функции вне себя, должно содержать в себе и самое главное отрицательное свойство вещественных атомов – самостоятельное жизненное начало с его главным

атрибутом: способностью к ощущению и самосознанию, не таким, конечно, которым одарены мы.

Я представляю себе – нет, это не представление, а греза, – и вот мне грезится беспредельный, непрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себе всю вселенную, проникающий все ее атомы, непрерывно группирующий их, снова разлагающий их сочетания и агрегаты и приспособляющий их к различным целям бытия.

К какому бы разряду моих ограниченных представлений я ни отнес этот источник ощущения и ощущающего себя бытия – к разряду ли сил, или бесконечно утонченного вещества, – он для меня все-таки представляет нечто независимое и отличное от той материи, которая известна нам по своим чувственным (подлежащим чувственному исследованию) свойствам. У меня нет других средств к исследованию этого источника ощущения и моего сознательного бытия, как полученная мною из этого же источника способность ощущения. А расследовать и познать что-либо вполне мы можем только тогда, когда станем выше познаваемого. Но свойство нашего ума искать цели и целесообразности не может не видеть целесообразности в проявлениях жизни. Нет ничего целесообразного, придуманного нашим умом, что не обреталось бы готовым, так сказать, в окружающем нас мире. Напрасно говорят, что организм наш есть машина; наоборот, каждая придуманная нами машина есть не что другое, как сколок с существующих уже в природе и в нашем организме приборов и снарядов.

Все органическое в природе тем и поразительно для нас, что в нем начало или сила жизни приспособила все механические и химические процессы к известным целям бытия. Если же ум наш не может не найти целесообразности в проявлениях жизни и творчества различных типов по определенным формам, то этот же ум не может в этом не видеть самого себя – то есть видеть разумное; и вот наш ум по необходимости должен принять беспредельный и вечный разум, управляющий океаном жизни.

[21 ноября 1879]

Я начал писать мои записки 5 ноября 1879 года, и сегодня, 21 ноября, опять принимаюсь, после промежутка в несколько дней.

Пишу для себя и не прочитываю, до поры до времени, писанного. Поэтому найдется немало повторений, недомолвок; найдутся и противоречия, и непоследовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знаком, что я пишу для других.

Я признаюсь сам себе, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки под спудом; те, однако же, лица, которым когда-нибудь будет интересно познакомиться с моим внутренним бытом, не побрезгают и моими повторениями: они, верно, захотят узнать меня таким, каков я есть, с моими противоречиями и непоследовательностями.

И вот я сегодня повторяю себе мое теперешнее мировоззрение. Повторяя, может быть, удастся уяснить его себе как можно более.

Спрашиваю себя: что, собственно, заставляет меня не остановиться с моим мировоззрением на атомах вещества как на чем-то законченном, вечном, беспредельном, самостоятельном, следовательно, абсолютном и не допускающем существования ничего другого?

Атомы вещества – это такое же отвлеченное начало, как и предполагаемое мною жизненное мировое начало. Для чего допускать два отвлечения, когда можно остановиться на одном? Почему не принять, что атомы вещества всегда существовали и всегда, вместе с другими свойствами материи, были способны ощущать и сознавать себя? Где и кем найдено в мире ощущение и сознание без присутствия вещества? Кто из нас сознавал себя и мыслил без мозга? Почему материя при других свойствах не могла бы ощущать, сознавать себя и мыслить? Не потому ли только мы не можем допустить это, что мы, по нашему неведению, неопытности и близорукости суждения, слишком, и притом произвольно, ограничили наши понятия о свойствах вещества – и, сделав это, принудили себя допустить существование какого-то, нами же выдуманного, духовного (психического) начала?

Да, так спрашивал я себя некогда и отвечал положительно на все эти вопросы.

Неоспоримый факт: нет сознания и мысли без мозга и умозаключения по известному и общепринятому шаблону; «cum hoc, ergo propter hoc»[9 - С этим – следовательно, по этой причине (лат.).]казались мне до того естественными и непреложными, что не допускали во мне и тени сомнения.

Но тот же самый ум, признававший прежде, без всякого сомнения, мыслящие и сознающие себя мозговые атомы, впоследствии начал усматривать себя самого не только в себе, но и во всей мировой жизни. Тогда ум мой не мог не усмотреть, что главные его проявления – мышление и творчество, согласные с законами целесообразности и причинности, ясно обнаруживаются и во всей мировой жизни без участия мозговой мякоти. Не странно ли, что мысль, выходящая из мозга, находит себя там, где ни один индивидуальный мозг не открыт нашими чувствами?

Вот это-то открытие собственным своим мозговым мышлением мышления мирового, общего и согласного с его законами причинности и целесообразности творчества вселенной – и есть то, почему ум мой не мог остановиться на атомах, одаренных чувством, ощущающих, сознающих себя, мыслящих и действующих только посредством себя же, без участия другого, высшего начала сознания и мысли. Способность творчества нашего ума и свойственное ей стремление сообразоваться в своих творениях с предначертанными планами и целями не могут не различать в каждом из своих дел мысль и цель от средства и материала, служащих для исполнения мысли и цели.

Цель и мысль, пойманные, так сказать, в сеть материала, на полотне в красках живописца, в мрамор зодчего, на бумагу в условные знаки и слова поэта, живут потом целые века своею жизнью, заставляя и полотно, и мрамор, и бумагу сообщать из рода в род содержимое в них творчество. Мысль, проникая чрез кисть, резец в грубый материал, делает его своим органом, способным рождать и развивать новые мысли в зрителях и читателях.

Если это неоспоримый факт, то для меня не менее неоспоримо и то, что высшая мировая мысль, избравшая своим органом вселенную, проникая и группируя атомы в известную форму, сделала и мой мозг органом мышления.

Действительно, его ни с чем нельзя лучше сравнить, как с музыкальным органом, струны и клавиши которого приводятся в постоянное колебание извне; а кто-то, ощущая их, присматриваясь, прислушиваясь к ним, сам приводя и клавиши, и струны в движение, составляет из этих колебаний гармоническое целое. Этот кто-то, приводя мой орган в унисон с мировую гармонию, делается моим «я»: тогда законы целесообразности и причинности действий мировой идеи делаются и законами моего «я», и я обретаю их в самом себе, перенося их проявления извне в себя и из себя в окружающую природу.

Ощущение, сознание, мысль – процессы, невысказанные без колебаний атомов, составляющих наше общее чувствилище, не могут состоять из одних только колебаний и движений, не достигающих до чего-нибудь, что к ним относилось бы так же, как глаз к световым и ухо к звуковым колебаниям, то есть воспринимало бы эти колебания и превращало бы их в нечто другое и сообщало бы их, действуя от себя, внешнему миру. Не самые ли эти колебания атомов органа – и суть нашего «я»? Принять это значило бы для меня принять в веществе такое невещественное и отвлеченное свойство, которое не имеет никаких чувственных отношений к материи, обладающей этим свойством. Теплота, свет, электричество как эффекты колебания частиц, все имеют прямые и непосредственные отношения к нашим чувствам и способность действовать своими колебаниями непосредственно на сцепление и сродство атомов; а самое чувство и мысль, отыскивающие в природе и свет, и теплоту, и электричество, чисто субъективные по своей натуре, делаются объектом не прямо, а посредством других сил, действуя на вещества.

Жизнь, сила, движение и мысль – для меня понятия, так неразрывно связанные между собою, что я ни одного из них не могу себе представить без другого. В жизни есть движение, сила и мысль; в мысли – движение и сила, а в силе – движение и мысль. Этому ассоциированному представлению о жизни недостает почвы, которую мы привыкли иметь под ногами; в нем нет ничего конкретного и объективного. Но представление об общей мировой жизни и не может у нас быть конкретным или чисто фактическим; это фикция, но неизбежная, неотвратимая для нас, потому что эта жизнь существует, и мы существуем, мыслим и действуем в ее непостижимом для нас, по своей громадности, круговороте. Но ведь и наши объективные расследования, нам кажущиеся имеющими самую твердую почву, в сущности, не что другое, как расследование нашей субъективной мысли; иначе они были бы бессмысленны и не заслуживали бы названия расследований. Правда, в них (в этих исследованиях) мысль наша находит себе постоянно материальную подкладку или канву, на которой она выделяет для себя узоры из располагаемого ею вещественного материала.

При исследовании отвлеченного понятия о мировой жизни мы не в силах сладить с громоздким веществом, которым она располагает для своих проявлений, а исследование частных ее проявлений делает наше представление о мировой жизни отрывочным, односторонним и часто ложным. Одно только неоспоримо для каждого беспристрастного и не близорукого наблюдателя – это целесообразность, причинность, план и мысль во всяком проявлении мировой жизни. Это значит не что другое, как совпадение нашей мысли, наших стремлений к отысканию целей и причин с тем, что мы находим в мировой

ЖИЗНИ.

И в меня невольно вселяется убеждение, что мозг мой и весь я сам есть только орган мысли мировой жизни, как картины, статуи, здания суть органы и хранилища мысли художника.

Для вещественного проявления мировой мысли и понадобился прибор, составленный по определенному плану из группированных известным образом атомов, – это мой организм; а мировое сознание сделалось моим индивидуальным посредством особенного механизма, заключающегося в моих нервных центрах. Как это сделалось – конечно, ни я, ни кто другой не знаем. Но то для меня несомненно, что сознание мое, моя мысль и присущее моему уму стремление к отысканию целей и причин не может быть чем-то отрывочным, единичным, не имеющим связи с мировую жизнью и чем-то законченным и заканчивающим мироздание, то есть не имеющим ничего выше себя.

Наконец, самый отчаянный эмпиризм, не признающий, не желающий знать ничего, кроме фактов и чувственных впечатлений, в конце концов, все-таки руководится отвлечением, то есть мыслью; кроме того, что без нее не обходится ни одно чувственное впечатление (основанное на бессознательной логике); одни чувственные впечатления без сознательной руководящей мысли пригодны разве для одного эмпирика-эпикурейца, но никак не эмпирика-наблюдателя и исследователя.

Все в мыслящем мире сводится к отвлечению; все наши представления и понятия, как бы они ни основывались на фактах и чувственном опыте, делаются чистыми отвлечениями, как скоро мы подвергнем их умственному анализу; а не подвергать – не в нашей воле. Этот-то разъедающий анализ и превращает вещество в силу. Все, что считается свойством вещества, умственным анализом превращается в нечто существующее вне подверженного нашим чувствам вещества, то есть опять-таки в силу или вещество, противоположное веществу.

Атомы, принимаемые умственным анализом за основу материи, превращаются им или в математические, то есть невещественные, точки, или центры, притягивающие к себе другие атомы, или же в бесконечно малые, то есть бесконечно делимые, величины.

И в том и в другом случае вещество перестает быть тем, чем оно нам кажется; теряет свое чувственное (подверженное нашим чувствам) существование; другими словами, делается силою, и потому именно силою, что, разложив его на атомы, нам нельзя уже представить его спокойным и бездействующим; допустив же действие, мы этим и придадим ему самый главный атрибут силы (действие). А чтобы оставить за веществом его самые характерные свойства, нам нужно положить предел разлагающему его умственному анализу: так, если бы мы, продлив наш анализ беспредельно, допустили бесконечную делимость материи, то превратили бы ее, как я сказал, в силу или в нечто неуловимое, не подверженное нашим чувствам, и тем лишили бы ее других ее главных свойств – непроницаемости и тяжести. Ограничить же умственный анализ, не доведя его до конца, значит принять за вещество не последний продукт анализа – атомы, а только скопление или скучение их, и в таком случае нужно будет допустить возможность образования вещества из скопления силы. И я не вижу логической невозможности принять этот конечный результат моего умственного анализа материи. Правда, я не знаю, что такое сила без проявления ее в веществе; но в веществе, подвергнутом умственному анализу, я ничего не вижу, кроме проявления силы, и все свойства вещества в моих глазах – проявления силы, а не что-либо присущее самому веществу; так, вещество сделалось бы таким же проницаемым, если бы частицы его (то есть скучение атомов) не удерживались притягательною, атомистическою силою; без этой первобытной силы не было бы ни малейших вещественных частиц, и беспредельно разделенная материя исчезла бы из нашего чувственного мира. Но сила, обнаруживавшаяся моим чувством в свойствах и движениях материи, могла бы существовать и не скопленная в виде атомистических частиц. Насколько бы она осталась после рассеяния материи вещественною, – разумеется под этим словом не то, насколько бы она осталась чувственною (подверженною чувствам), а то лишь, насколько она осталась бы уловимую нашу мозговую мыслью, – этого я не знаю; но убежденный, что сверх моей мозговой мысли существует еще другая, высшая мировая, я верю, что сила продолжала бы существовать и действовать в этой мировой мысли. Мысль же эта и действующая чрез нее сила – это мировая жизнь.

Да, жизнь – это для меня понятие коллективное. Это я уже сказал; жизнь – это осмысленная, безгранично действующая сила, управляющая всеми свойствами вещества (то есть его силами), стремясь притом непрерывно к достижению известной цели: осуществлению и поддержке бытия.

Простое описательное эмпирическое определение жизни, данное Биша[10 - Ф. Биша (1771-1802) – французский анатом и физиолог, автор учения о тканях

человеческого тела.]и другими, также довольно верно: по этому определению жизнь сводится на собрание отправлений, – ensemble des fonctions, – противодействующих смерти – qui résistent a la mort.

Действительно, в живом организме, как и во всем живом мире, все отправления, все функции направлены к тому, чтобы сохранить бытие и противодействовать разрушению; ошибка или, лучше, недомолвка этого определения только в том, что не отправления организма сами по себе стремятся и более или менее достигают этой цели, а другое, руководящее их начало, эмпирическое, осмысленное, то есть стремящееся к цели и делающее все функции организма целесообразными, – сила жизни.

Все механические действия органических снарядов и приборов, все химические процессы, весь процесс развития в организме – все целесообразно, везде мысль, план и стремление осуществить, сохранить и поддержать бытие. Механизм устройства органов, химизм различных функций и т. п. – все это чем более расследуется и чем более подвергается чувственному анализу, тем яснее обнаруживаются в замысловатости устройства целесообразность и причинность; но то, что направляет механические и химические процессы организма к цели, то остается и останется для нас сущим и первобытным, хотя и сокровенным для чувственного представления.

2 декабря

Прошло опять несколько дней, в которые я не беседовал с собою. Найду ли опять нить, не прочитав записанного прежде, – нужды нет; я не претендую на звание философа и пишу для себя.

Что для моего склада ума, наклонного к эмпиризму и в нем окрепшего, казалось прежде абсурдом – это мысль без органа мышления.

Да, мозговая мысль немислима без мозга.

Но ведь и мировая – не есть ли один только продукт мозговой? Где орган мышления для мировой мысли? Где ее проявления без мозговой мысли? В том-то и дело, – отвечу на это, – что то же самое чувство, которое убеждает нас в нашем бытии, неразлучно с этим убеждением и вселяет в нас и другое – о

существовании мира, то есть о проявлениях мировой мысли. И тот же самый ум, который убеждается в целесообразности наших жизненных функций, в то же время видит и целесообразность в бытии других мировых функций; другими словами, наш же собственный ум, как бы он настроен (эмпиризмом или идеализмом) ни был, не может не заметить присутствия мысли вне себя, точно так же, как не может не убедиться в присутствии вещества в нашем организме и вне его. Одно из двух: он (наш ум) должен принять – или все существующее вне его одна иллюзия, или существование мира, нашего «не я», так же непреложно, как и собственное бытие. Чтобы не помешаться и не угодить в дом умалишенных, необходимо принять последнее как непреложную истину, то есть такую же, как наше собственное ощущение бытия. Приняв же это, неминуемо нужно признать и существование кроме нашей мозговой мысли другой, высшей, мировой. Постоянное ее проявление в окружающей нас вселенной тем непреложнее для нас, что все проявляющееся в нашем уме, все изобретаемое им, все, наконец, до чего мы только можем додуматься, – уже есть существующее, есть готовое в проявлениях мировой мысли...

Устал немного после двухчасовой прогулки по снегу при 9° Реомюра; но, отдыхая, продолжаю разбор моего мировоззрения. Мне самому любопытно знать, насколько я смогу сделать его себе ясным и законченным.

Да, уму, воспитавшему себя на эмпиризме, гораздо легче себя представить простою функцией мозга.

В практической жизни эмпирический ум может, нисколько не затрудняясь, остановиться на таком взгляде, по-видимому, безупречном и основанном на бесспорных фактах. Неминуемым следствием этого взгляда должно быть то, что мировая целесообразность и творчество по определенному плану суть произведения нашего ума, функции нашего же мозга. А приняв это, нужно будет допустить и другое следствие – то именно, что сам мозг, находящийся посредством своей функции (ума) план и целесообразность в мировом устройстве, делает это только потому, что он уже так устроен, что атомы, составляющие мозг, под влиянием внешних условий и случайно, так, а не иначе сложились. Нужно будет допустить, что могло бы быть и иначе. Выйдет что-то странное: если целесообразность и план навязаны вселенной моим мозгом, а он сам, как и все в мире, продукт случайного сочетания атомов, от известной формы группировки и состава которых произошло то, что воздействие на них внешнего мира производит и чувство, и мышление; если, говорю, допустить все

это как ultimum refugium[11 - Крайнее средство (лат.)].ума, то все, что я отношу к творчеству мировой мысли и жизни, должно быть делом случая. Случайно, ибо нет начала, действовавшего самостоятельно, целесообразно и разумно, – случайно, говорю, при бесчисленном множестве разных форм и составов, в которые группировались посредством собственных своих свойств атомы вещества, состоялась и группировка атомов мозга; сначала, конечно, в ином первобытном виде, а потом, изменяясь и усложняясь под влиянием внешних условий, образовался и ныне действующий орган ощущения и мышления.

Итак, случай – вот творческое начало; от сочетания его действий с воздействием внешних, также происшедших когда-то от случая, сил произошел тот бастард[12 - Бастард (нем. Bastard) – биологический гибрид от межвидовых и межродовых скрещиваний животных.], который мы называем миром.

В таком мировоззрении необходимо, прежде всего, остановиться на случае как самой мощной силе; но о случае я скажу мой взгляд при случае, потом, полагая, что он мне столько же знаком и незнаком, сколько и другим особам, приписывающим ему такое первостепенное значение.

Есть, однако же, в этом крайнем взгляде доля правды.

Исследуя природу хотя бы самым эмпирическим способом, то есть доверяя только одним чрез внешнее чувство добытым фактам, мы все-таки, собственно, ничего другого не делаем, как только переносим наше мышление и вообще все наши умственные способности на внешний мир; и, наоборот, мы не можем иначе исследовать наше собственное «я», как сделав его внешним объектом, то есть перенося его вне нас. Но, принимая это как неоспоримый факт, я при моем воззрении, не могу не принять в то же время, что открываемая моим мышлением целесообразность мирового устройства была бы чем-то ему произвольно или непроизвольно мною навязанным, чем-то не вполне действительным, то есть столько же непреложным, как и мое собственное бытие.

Но всего более и яснее обнаруживается различие моего мировоззрения от эмпирического в том, что уму, принимающему себя за одну органическую функцию мозга, кажется каким-то нелепым абсурдом другое, противоположное убеждение в существовании другого, первобытного, разумного, жизненного начала – не функционального и не органического, которое, не завися от группировки атомов и действия атомистических сил, само организует и приводит в действие атомистические силы; орудием же или органом его

проявлений служит вселенная. Мозговой ум наш и находит себя, то есть свойственное ему стремление к целесообразности и творчеству, вне себя только потому, что он сам есть не что иное, как проявление высшего мирового ума.

3 декабря

Также после долгой прогулки в прекрасный зимний день на чистейшем и, вероятно, озонированном воздухе.

Такому органическому (мозговому) уму, как наш, конечно, трудно себе вообразить другой, да еще высший ум без органической почвы; а для современного склада нашего ума такое воззрение неминуемо должно казаться нелепым. В наше время не одни дипломаты мирятся всего скорее с совершившимся, существующим уже фактом; и действительно, в житейской практике всего удобнее остановиться на том, что видимо и осязаемо, а при расследовании причин и следствий – держаться известного всем по опыту *cum et post hoc, ergo propter hoc*[13 - С этим и после этого – следовательно, по этой причине (лат.)]; как ни обветшал этот лозунг, как он ни преследуется логикой, но в сущности он неизбежен в эмпиризме. Испытывая что-либо и опровергая или подтверждая один опыт другим, мы все-таки ничего другого не делаем с нашими эмпирическими или индуктивными умозаключениями, как заменяем одно *cum et propter hoc* другим.

Да, в практической жизни и в эмпиризме нельзя уходить слишком далеко; но где остановиться?

Вот вопрос, решаемый не иначе, как индивидуально различным складом ума у каждого из нас. Но как бы мы ни старались ограничиться одними фактами и чисто индуктивными умозаключениями, все-таки приходится почти на каждом шагу считаться с отвлеченными представлениями и понятиями. Без отвлечения не существует и ни одно умозаключение, как бы оно индуктивно ни было. Пространство – факт, время – факт, движение – факт, жизнь – факт, и в то же время и пространство, и время, и движение, и жизнь – самые крупные и первостепеннейшие отвлечения.

Каждый ребенок меряет пространство и может довольно легко и правильно судить о нем, пока оно подвергается трем измерениям; но о пространстве

вообще, безмерном и безграничном, и весьма дельные умы еще не совсем уверены, сколькими измерениями оно способно мериться, и математики толкуют о возможности четвертого – найдут, может быть, необходимым или возможным и пятое.

Вероятно, наш мозговой ум доходит до всех этих отвлеченных понятий о пространстве, времени и т. п. путем эмпирическим, чрез ощущение наружными чувствами. Но то не эмпиризм, когда мы, всегда и везде видящие и ощущающие границы пространства, начинаем помышлять и о безграничном. Кантовы ли это какие-то категории, или ящики в конторке нашего мозгового ума, или другой какой-то скрытый его механизм; но присутствие отвлечения в таких фактических истинах, каковы пространство и время, – такой же факт. Мы роковым образом, неминуемо, не видя и не ощущая неизмеримого и безграничного, признаем фактическое его существование; вот не факт существует также фактически, как и факт; и в существовании безграничного и безмерного мы гораздо более убеждены, чем был убежден Колумб в существовании Америки до ее открытия. Разница только в том, что мы нашу Америку никогда не откроем так, как он свою.

4 декабря

(Вместо вчерашних 15° сегодня 3°, с сильным западным ветром, так что гулял не более одного часу.)

Нужно заметить, что наши понятия о пространстве, времени и жизни совершенно отличны от обыкновенных обобщений, как, например, понятий о человеке. В обобщении «человек» мы понимаем не более как свойства, несомненно характеризующие человеческие особи.

Но в понятии о пространстве исчезают все свойства отдельных пространств, как то: их измерение, форма, содержимое и проч.; нам (по крайней мере мне) при размышлении о пространстве сдается, что все известные нам по чувственным представлениям пространства и предметы заключаются в чем-то ином – неизмеримом, бесформенном, безграничном.

То же самое находим и в понятии о времени: фактически мы судим о нем только по движению в пространстве; но сверх этого фактического определения

времени мы сознаем еще, что и без движения, то есть без средства к измерению времени в пространстве, существует наше «я» в настоящем, подобно тому, как оно существовало в прошедшем, и что это же самое настоящее и прошедшее существуют не для нашего одного «я», а должны существовать и без него.

Понятие о мере пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самом пространстве и самом времени, нам служит не к уяснению нашего понятия, а к убеждению нас в том, что измеряемое в пространстве и времени не есть еще самое пространство и самое время.

Понятие о жизни также не есть одно обобщение.

Оно относится, по-моему, к той же категории, как и понятие о пространстве и времени.

Первый толчок к образованию в нашем уме понятий об этих трех (отвлеченных) фактах дает нам ощущение нашего бытия. Это ощущение, конечно, факт, но какой? Можно ли его причислить к категории фактов обыкновенных, добываемых нашими внешними чувствами и основанных именно на этом главнейшем факте – на ощущении бытия, без которого для нас все другое невысказано? Это факт *sui generis*[14 - Своего рода, своеобразный (лат.).] выходящий из ряда вон.

Как проявляется чувство бытия в животных – это тайна, так же неразрешимая, как и проявление наших понятий о пространстве и времени. Первым толчком служат, конечно, действия внешнего мира на наши чувства, но только толчком, а самая суть и ощущения бытия, и понятий о времени и пространстве скрываются глубоко в существе самого жизненного начала.

Возьмем для примера момент рождения на свет теплокровного животного. Что заставляет его ощутить свое бытие первым вдохом воздуха, издать первый звук жизни?

Рефлекс от прикосновения воздуха к его периферическим нервам или от внезапного изменения в кровообращении новорожденного.

Значит, машина так устроена, что прикосновение внешнего мира к периферическим нервам неминуемо должно отразиться на ту пружину,

находящуюся в продолговатом мозгу, которая приводит в движение дыхательный прибор, заставляя его потянуть в себя наружный воздух; а это первое вдыхание, в свою очередь, должно отразиться на чем-то ощущающем самого себя и отличающем себя от внешнего мира. Но связь-то именно этого чего-то с механизмом животной машины и есть икс, потому неразрешимый, что для фактического его разрешения необходимо бы было не только подметить на себе или другом животном, но и прочувствовать эту связь первого вдыхания с ощущением бытия. Да и такое невозможное наблюдение было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя следить за ощущением, не изменяя и не нарушая его. Мы всякий день видим, как рождаются люди и животные, как выводятся цыплята из яиц, и мы так привыкли к жизни, что можем думать, будто мы сами даем жизнь другим существам (так думают, пожалуй, и многие); немудрено поэтому, что жизнь нам кажется вовсе не тайною, а простым, обыденным делом.

Жизнь и бытие едва ли не кажутся многим из нас одним и тем же.

И нельзя не согласиться, что различие между живым и неживым неуловимо на окраинах жизни. Наше понятие о жизни как о целом, прежде всего, основано на нашем собственном ощущении бытия и присущем этому ощущению чувстве мощи или силы жизни; мы, прежде чем опыт научает нас раз узнавать жизнь по ее резким проявлениям, невольно склонны принимать эти же ощущения жизни (более или менее) во всем нас окружающем и, конечно, всего более в том, что обнаруживает движение, то есть силу и мощь. Я полагаю, что ребенок, прежде чем он дойдет опытом отличать свое «я» от окружающего его «не я», принимает все его окружающее в такой же степени живым, как и он сам.

Живя, наблюдая и участь, мы, наконец, научаемся отличать более или менее рационально проявление жизни от простого бытия; но и тогда мы узнаем не более и не менее как механизм организмов, управляемый теми же силами, которыми управляется и бытие: тяготением, сцеплением и сродством атомов, электричеством, теплотою и т. п., а начало, целесообразно направляющее эти силы и механизм к сохранению организма, индивидуальности и их определенных по предначертанному плану отношений к внешнему миру, остается для нас неведомым и, говоря языком юристов, не подлежащим обсуждению (расследованию) по существу, а только по форме.

Один наш мозговой ум неминуемо убеждается в существовании этого начала жизни, находя в нем самого себя, то есть разумное стремление к цели, самобытности, творчеству по определенному плану. Наш ум, находя в самых

разнообразнейших проявлениях жизни свои собственные существеннейшие стремления в неизмеримо высшем размере, не может не признать первобытного и самостоятельного бытия высшего начала, действующего по тем же, как и он сам, законам целесообразности и творчества. Бытие этого начала, поэтому же самому, должно быть для нашего ума независимым от управляемой им материи, и так же точно первобытно и независимо от частных его вещественных проявлений (проявлений в веществе), как пространство и время независимы от частных пространств и частей времени.

Как пространство и время, так и жизненное начало, в них существующее, должны быть, по требованию нашего же ума, первобытны, беспредельны, бесформенны. И самобытное, бесформенное начало жизни творит в безграничных и также первобытных пространстве и времени все возможные формы вещества, направляя все другие силы к борьбе за существование в оформленном и оживленном веществе.

Но как бы ни соответствовало требованиям нашего ума убеждение в необходимости существования вне вещества первобытного и самобытного жизненного начала, управляющего атомами и присущими им силами, мы, конечно, никогда не будем в состоянии составить себе о нем ясное понятие. Всегда и неизбежно сомнение найдет место в нашем уме, и чем более опыт и наблюдение знакомят нас с устройством и механизмом функций органов, необходимых для жизни, тем более правдоподобным будет казаться нам самая жизнь не чем иным, как отправлением (функцией) этих органов; а наши понятия о самобытности и целесообразности действий жизненного начала будут казаться нам одними воображательными отвлечениями нашего же ума, не существующими фактически.

Действительно, наша умственная деятельность, получив однажды известное направление, нелегко отклоняется от него, и тем труднее, чем более она удовлетворится результатами своих исследований в принятом ею направлении. Немудрено, что именно те результаты, в достижении которых участвовали по преимуществу наши внешние чувства, и наиболее должны казаться нам ясными и удовлетворительными. Но, к сожалению, именно при индуктивном или фактическом способе расследования мы обыкновенно упускаем из виду, что наши чувственные расследования имеют значение не сами по себе, а по тем заключениям, которые мы выводим – сознательно и бессознательно – из виденного, слышанного и вообще прочувствованного нами. Заключение же эти, так же как и другие логические выводы, все-таки не что иное, как отвлечения, и

также сознательные и бессознательные.

Ум наш по необходимости во всяком факте и во всей вселенной усматривает только самого себя, вне себя; это он делает и при индукции, и при дедукции: и там, где он судит по данным, приобретенными чувствами, и там, где он судит по представлениям фантазии.

Не перенося себя вне себя, мы не имеем другого способа умствования. Мы, не перенося нашего «я» вне нас, не можем убедиться умственно и в существовании мира, ибо ощущения чувственные существующего вне свойственны всем животным и, может быть, и всем органическим телам, – ощущения бессознательные или сознаваемые, так сказать, *per contactum*[15 - Путем контакта (лат.)], конечно, не то, что мы называем убеждением.

Ум наш, перенося себя вне себя и усматривая здесь самого себя, то есть свойственные ему одному стремления, как творчество, целесообразность, ответственность причин и следствий, не может, однако же, не прийти к заключению, что все это, им усматриваемое для себя, действительно существует, так же как и он сам, то есть все стремления, находимые им в себе, и все узнаваемое и творимое им существуют уже вне его. Он ничего не изобрел такого, что бы ни было предварительно им открыто вне себя – в окружающем его мире и в себе самом как частице этого внешнего мира[16 - Здесь в подлиннике на поле несколько строк, неизвестно куда относящихся: «Но цели выше в жизни. Ноги ходят. Что за функции, убивающие свой орган произвольно».]

16 декабря

15°R; отличный воздух; немного NE[17 - Норд-ост (направление ветра).]; солнечный день; снегу выпало вчера и третьего дня порядочно с метелью. Предшествовавшие два-три листа писал между 7 и 16 декабря урывками при погоде, переходившей почти в оттепель, между 0+2–3°R. Занят был в это время больными, операциями и продажей пшеницы (по 1 руб[лю] 50 коп[еек] за пуд). Хотя снег выпал в начале ноября (8–13) на талую землю, но, по исследованиям на этих днях, она замерзла на 3–4'' и только в низменностях, под глубоким снегом, еще стоит талая; всходы, однако же и тут еще зелены и не подмокли.

Да, наш мозговой ум, исследующий свой genesis[18 - Развитие (лат.)]дедуктивным способом, скоро и легко – слишком скоро и слишком легко, я полагаю, – убеждается, что он есть не что другое, как функция мозга.

Рассматривая свой главный атрибут – мышление, наш ум убеждается при этом, что оно есть коллективная способность и потому должно быть функцией различных частей и различных гистологических[19 - Тканевых.]элементов мозга.

В процессе мышления принимают участие: 1) способность сознательная и несознательная – ощущать и воспринимать впечатления (*perceptio*); 2) сознание этих впечатлений, хотя и не всегда, так как и при бессознательных ощущениях можно еще и мыслить бессознательно; 3) способность удерживать впечатления (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвал понятливостью) сочетать, ассоциировать, группировать в известном порядке задержанные памятью ощущения и составлять из них понятия; а для этого в свою очередь необходимо еще и 5) *conditio sine qua non*[20 - Непременное условие (лат.)]мышления – способность означать знаками или перемещать в фонетические и мимические знаки (членораздельные звуки и слова) ощущаемые впечатления, передающие их в этом новом виде и памяти. Комбинации, группировка и ассоциация впечатлений, без превращения их в фонетические и мимические знаки, хотя и возможны, но отношения тогда этой способности к сознанию для нас непостижимы, и мы называем такую группировку и ассоциацию бессознательными или инстинктивными. Мы должны признаться, однако же, что названием несколько не объясняем себе отношений и роли сознания в этом случае. б) Напоследок венец в процессе нашего мышления составляют стремление и способность его различать причину и следствия, цель и средства (законы причинности и целесообразности), находить связь между ними, предполагать в каждом действии цель и стремление к ее достижению, словом – стремление и способность к творчеству. И все это в процессе нашего мышления соединено с чувством свободы, воли и произвола.

Всем нам кажется, что мы свободны мыслить так или иначе и как хотим; но, с другой стороны, всякий из нас чувствует и знает, что этой кажущейся свободе положен предел, вышед из которого, мышление делается безумием. Это потому, что мышление наше подлжит законам высшего мирового мышления. Между тем мозговой ум наш, не знающий иного мышления, кроме своего, и убежденный опытом в зависимости его от мозга, при рассматривании внешнего мира может дойти до такой иллюзии, что в нем нет никакой иной мысли, кроме нашей собственной. Эта иллюзия может дойти и до того, что нам кажется мировая мысль попросту вовсе несуществующею сама по себе, а только как произведение нашего собственного ума. Да если бы мы не были уверены в бытии

внешнего мира так же твердо, как и в своем собственном, то все, что наше расследование открывает в нем целесообразным и как бы намеренно и независимо от нас устроенным, мы могли бы, пожалуй, принять за произведение одного нашего ума и нашей фантазии.

И вот мы находим себя запертыми в волшебный круг; с одной стороны, мы фактически не знаем другого ума, кроме своего органического, с другой стороны, этот же самый ум указывает нам на внешние произведения творчества, несомненно свидетельствующие о существовании другого ума с атрибутами не только сходными, но и несравненно более превышающими творчество нашего. И вот рождается невольный вопрос: действительно ли мы не могли бы иначе ходить, как с помощью ног, или же мы только ходим, потому что у нас есть ноги? Действительно ли только при посредстве мозга мы могли бы мыслить, или же мыслим только потому, что есть мозг? Видя неисчерпаемое множество средств, с которыми в окружающей нас вселенной достигаются известные цели, можем ли мы утверждать, что ум мог и должен был быть единственно только функцией мозга? Разве пчела, муравей и т. п. животные и без помощи мозга позвоночных животных не представляют нам примеров удивительной сообразительности, стремления к цели и даже творчества? И что это за странная функция, держащая в зависимости от себя существование своего органа? Выстрел из револьвера, направленный этою функцией, – и ее орган разрушен. Что за беспримерная функция, способная рассматривать и анализировать себя и свой орган как объект, как нечто внешнее? Не потому ли ум наш и находит себя, т. е. мысль и целесообразное творчество, вне себя, что он сам есть проявление того же самого высшего, мирового, жизненного начала, которое присутствует и проявляется во всей вселенной. Мировая мысль, присущая этому началу, совпадает, так сказать, с нашею мозговою мыслию, служащею ее проявлением, и потому те же стремления и сходные атрибуты находим мы в той и в другой. Совпадение свидетельствует об одном и том же источнике, но различие неизмеримо велико, несравненно более велико, чем мы, например, полагаем между особью и родом или племенем. Наша мысль есть, действительно, только индивидуальная, и именно потому, что она – мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся в жизненном начале всей вселенной, именно потому, что она мировая, и не может быть органическою. А наш, хотя бы и общечеловеческий, но все-таки индивидуальный ум, и именно по причине своей индивидуальности, а следовательно, органичности и ограниченности, и не может возвыситься до понимания тех высших целей творчества, которые присущи только уму неорганическому и неограниченному – мировому. А потому и жизненное начало как одно из проявлений этого ума для нас останется навсегда тайною. Ignorabimus[21 - Непознаваемое (лат.)].]

17 декабря

Мороз 25°R; но тихо, ясно и превосходно на воздухе. В персичной [оранжерее] под стеклами и ставнями, прикрытыми навозом, 12°R.

Вселенная, жизнь, сила, пространство и время – все это – как бы их назвать? – назову: отвлеченные факты. Название, пожалуй, абсурдное, но оно вмещает в себе именно два противоречия, и потому, мне кажется, выражает то, что я хочу сказать. Наше понятие о жизни, силе, пространстве, времени и о вселенной основано, по-моему, прежде всего на ощущении, следовательно, на факте. Ощущая сознательно (а бессознательное ощущение жизни хотя и существует несомненно, но я его не знаю и судить о нем не могу), мы вместе с тем ощущаем и силу (мощь), и пространство, и время, и мир, т. е. наше «не я». Ощущая все это, мы сначала не анализируем нашего ощущения и принимаем все d'emblee[22 - Вместе, целиком (фр.)]за один и тот же факт; несмотря, однако же, на отсутствие анализа, мы все-таки сознаем (не знаю как: сознательно или бессознательно?!) и приходим даже к твердому убеждению, что, кроме того ограниченного пространства, которое мы сами занимаем, и даже кроме видимой нами границы горизонта существует еще пространство, а за ним еще и еще. Так и для времени, и для силы, и для жизни мы в нашем ощущении не находим определенных границ. Мы не помним начала этого ощущения, не знаем его и конца. Только фантазия и долговременный опыт, показывающий начало и конец различных предметов и различных действий, приводят нас к иллюзорным убеждениям, заставляющим нас думать, что есть конец света, конец жизни и т. п. Ощущение же, как факт, переживаемый нами, убеждает нас в противном, т. е. в существовании беспредельного и безграничного. В ощущении, выражаемом нами звуком или словом: «я есмь», заключаются и «я был», и «я буду». Мы живо чувствуем, что настоящее – иллюзия, что мы живем только в прошедшем, непрерывно переходящем в будущее. И когда мы хотим несколько ориентироваться в наших ощущениях жизни, силы, пространства, времени и вещества, т. е. довести эти ощущения до степени понятия, то мы не поступаем так, как при других наших обобщениях. Понятие, складывающееся у нас об ощущениях жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтэссенция свойств отдельных предметов или особей, как наши другие отвлеченные обобщения. Нет, это отвлеченный факт, выведенный из ощущения чего-то беспредельного и безграничного, противоречащий тому, что мы называем действительным фактом, т. е. такому, который по своей ограниченности подлежит проверке внешних чувств или вообще какой-либо

внешней (документальной, как, например, исторические факты) проверке.

Что бы мы ни говорили о неизбежности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется нам как бы бесконечною; по крайней мере, конца ее – пока мы не приблизились к смерти старостью или болезнью – мы себе ясно представить не можем.

Как бы мы ни были знакомы по опыту с свойствами материи, мы убеждаемся, что все наши знания этих свойств недостаточны для определенного понятия о веществе или, другими словами, для его ограничения. Как бы ни казалась нам сила нераздельною от вещества, мы все-таки не можем ее понять как свойство материи, а принуждены допустить ее самостоятельное беспредельное бытие, как и самого вещества, в безграничном пространстве и времени. Да если бы и удалось нам, как удалось астрономам, определить, хотя бы приблизительно, границы и меры того, что нам кажется или нами ощущается беспредельным и безграничным, то и тогда бы, как и в астрономии, вышли бы такие цифры и числа, представить себе которые наглядно и фактически мы будем не в состоянии; что толку, если бы получились миллиарды миллиардов? – представления наши о наших числах будут так же неопределенны, как и о безграничном и беспредельном.

25 декабря

Рождество Христово. Не писал дневника несколько дней, но зато на моих утренних прогулках по имению старался привести в порядок и ясность для себя мои понятия о начале жизни.

Я должен привести себе в ясность, насколько я материалист; эта кличка мне не по нутру, как Гессен-Кассельскому герцогу, который никак не мог терпеть, чтобы его гессенского профессора Либиха[23 - Ю. Либих (1803–1873) – немецкий химик, явился реформатором в области органической, физиологической и сельскохозяйственной химии.] считали материалистом. «Sein Vater war Materialist (т. е. аптекарь), nicht er»[24 - Не он, а его отец был материалистом (нем.)], – говорил герцог обвинителям Либиха в материализме.

Но что за дело до клички? Главное – сделать для себя ясным свое мировоззрение. Если я только не слукавлю пред Богом и моей собственной

совестью, излагая мое мировоззрение, то дела нет – буду ли я материалист или глупец в отношении к другим.

Я изменил себе и прочитал написанное несколько дней назад. Прочитав, вижу, что к понятиям о беспредельном, к которым я отношу пространство, время, силу и жизнь, я отнес и понятие о веществе. Откровенно сознаюсь, что вещество мне кажется таким же беспредельным, как пространство, время, сила и жизнь. Мне кажется, то есть моему воображению не представляется невозможным, что вещество могло бы перейти в силу и сила – в вещество. Сила должна быть бесформенна, но и материя в крайних ее пределах едва ли мыслима с сохранением формы. И жизненное начало, как сила, как нечто беспредельное и бесформенное в моем представлении, должно иметь свойства силы, переходить в материальные атомы, подобно тому, как допускается возможность перехода туманных пятен мирового эфира в небесные тела. Сравнение, правда, самое грубое. Тут переход вещества в вещество, следовательно, одно видоизменение. А переход силы в вещество! Это что? Ахиня? Но ведь сила не ничто, и, рассматриваемая мышлением отдельно от вещества, она есть нечто отличное от материи, хотя бы только и отрицательными свойствами. Только одно понятие о Боге, или – у атеистов – понятие о мире (их Боге), может быть понятием без отрицания; все другое на свете, понимаемое или представляемое нами, должно иметь и собственное свое отрицание в нашем уме.

Понятие о беспредельном пространстве имеет свое отрицание в измеряемых и оформленных предметах; понятие о бесконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служит отрицанием смерть; даже для уяснения одного из свойств Божеской природы – добра – сделался необходимым дьявол. Потому и понятие о веществе вызвало в уме представление о противоположном начале – силе; без нее, без ее антагонистических веществу атрибутов самое вещество с его инерцией и другими свойствами было бы немислимо. Но отрицательное (то есть нематериальное) свойство силы можно и для более ясного представления нужно перевести в положительное, приняв за исходную точку главный атрибут силы – действие и движение. И действительно, с моим представлением безграничного пространства и времени соединяется и представление о движении; время – это отвлеченное движение в пространстве, то есть сила, действующая в пространстве и своим действием приводящая себя в вещество. Могу ли я требовать, чтобы представления мои о таких отвлеченных предметах были ясны и отчетливы, как чувственные факты? – ведь и о самых наглядных вещах нередко имеешь одно смутное представление. Следует ли из того, что мне представляется неясным, заключить, что это темное представление ложно и бессмысленно? Не бывают ли, напротив, именно галлюцинации, то есть

призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующих? Известно, что при неясности представлений мы прибегаем к сравнениям.

И вот мне кажется, что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как с светом. Источник света хотя и известен нам фактически, но расстояние его от нас так далеко и действия его на нас и все окружающее нас так многочисленны и разнообразны, что мы в обыкновенной жизни называем, без дальнейшего размышления, свойствами тел свойства света. Мы говорим и думаем, что тот или другой цвет принадлежит не солнечным лучам, а тому или другому телу, хотя это тело потому только цветное, что атомы его задерживают, отражают или преломляют лучи света. Лучи же света могут достигать до нас и быть видимыми нами, может быть, целые века после того, как источник их света уже давно погас. Колебания светового эфира, чего-то непохожего на вещество, способного проникать чрез вещества, непроницаемые для всякой другой материи, и вместе с тем сообщающего им новые свойства, мне кажутся подходящими для сравнения с действиями жизненного начала.

26 декабря

Беседа с самим собою заманчива. Как я ни убежден, что мне не удастся уяснить себе вполне мое мировоззрение, но самая попытка уяснения заключает уже в себе какую-то прелесть.

Погода все время изменяется: NW и NNW, иногда переходящие SO. Температура между $-5-6^{\circ}$ и $+2^{\circ}$ R.

Да, мозг представляется мне подобным стеклянной призме, имеющей свойство разлагать луч света и преломлять его. Если бы я не боялся насмешки над самим собою за фантазерство, я бы назвал мозг призмой мирового ума; воспринимать и пропускать чрез себя колебания или действия этой мировой силы было бы функцией мозга, если бы сравнение мое было верно. Но, ставя себя на точку зрения материалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моим сравнением и тем воззрением, к которому неминуемо приводит – на первых порах и, так сказать, сгоряча – скептицизм эмпирии. Не говоря уже о том, что *comparaison n'est pas raison*[25 - Сравнение это не доказательство (фр.)], есть ли, спрашивается, для эмпирика хотя малейший смысл в употребленных мною

выражениях, как: колебания силы, мировой ум без мирового мозга, сила без вещества, жизненное начало вне организма? Что это, с точки зрения эмпирика, как не идеологический набор слов?

Да, согласен, помирить чистый эмпиризм с существованием силы вне материи, мысли вне мозга, жизненного начала вне органических тел немислимо. Это *contradictio in adjecto*[26 - Внутреннее противоречие (лат.)]. И те чистые эмпирики, которые, останавливаясь на фактах, не идут далее своих непосредственных (прямых или ближайших) умозаключений из этих фактов, совершенно правы в моих глазах – я сам был и даже есмь такой; но как скоро переступается ими эта граница волшебного круга, как скоро они берутся за разрешение таинственного икса, то тут выводы эмпиризма оказываются несколько не осмысленнее идеологических предположений. Не забудем, однако же, что то, что мы называем смыслом, не есть непоколебимое и безусловно верное мерило истины. Хотя законы мышления всегда были и будут одни и те же, дважды два всегда будет четыре, но осмысленными и бессмысленными нам кажутся не всегда и не всем одни и те же предметы. То, что считалось бесспорным и очевидным лет сто тому назад, то может быть бессмысленным для живущих в конце XIX века. Смысл меняется не от одного процентного содержания знания в нашем уме, а часто и от психических поветрий и других внешних условий, к которым надо отнести и моду. Мода же является также и в виде поветрия. Вообще наш смысл, а вместе с ним все наши мировоззрения подчиняются закону периодичности, играющей в нашей, как и во всей мировой, жизни важную роль. Старое и забытое является в известные периоды снова на свет, но, конечно, всегда в ином виде; новые скопившиеся приобретения опыта вызывают на свет забытое и придают ему свежесть и новую силу. Ново то только, что хорошо забыто, – это изречение скептика имеет свою долю правды. Периодическое и вековое господство различных противоположных одна другой доктрин в науках и в мировоззрениях различных наций доказывает нам наглядно, насколько мы можем доверять нашему смыслу. Современный эмпиризм есть также своего рода доктрина, хотя последователи ее и желали бы не быть доктринерами. Всякая же доктрина, хотя бы и претендующая на одни чисто фактические основы, как это делает эмпиризм, – всегда односторонняя; иначе она не господствовала бы, не следовала бы одному и тому же направлению, считая его непогрешимым, и признала бы достоинство и других убеждений, основанных не на одних только чисто чувственных фактах. Бессмысленным называется то, что противоречит нашим убеждениям, – именно убеждениям, а не знаниям, ибо убеждения влияют на нас сильнее знания.

28 декабря

Метель и вьюга при сильном NW целую ночь и продолжается теперь при +1°R; все вокруг занесено снегом, нельзя высунуть носа, и я принужден остаться без моей утренней прогулки. Попробую писать – что-то выйдет.

Если смысл наш зависим от наших современных убеждений, а они, в свою очередь, преходящи и не всегда по своей силе и упорству соответствуют нашим знаниям, то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направление не должно смотреть свысока на другие, им противоречащие, доктрины и направления; а умы беспристрастные, не увлекающиеся и не доверчивые, не должны пугаться насмешек, разных кличек и обвинений в отсталости, нерациональности и бессмыслии. Кто пережил уже кое-что на своем веку, тот вспомнит, с каким пренебрежением относились в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия гегельянцы и натурфилософы к скромным и приниженным (в то время) эмпирикам, платящим теперь, в свою очередь, прежним мудрецам тою же монетою. Всего вернее и надежнее, конечно, было бы остановиться на позитивизме, оставить в покое неизъяснимое, приняв за аксиому, что существуют предметы, не подлежащие нашему знанию. Но это воззрение на практике делается, подобно другим, доктриною, как скоро оно будет проводиться последовательно и обязательно для его последователей. Доктринерство же, я сказал, – всегда односторонне и узко. Можно ли требовать от каждого ума, чтобы он обязался не затрагивать тот или другой предмет размышления; чтобы он остановился именно там, где ему назначает остановиться другой ум! Действительно, как, кажется, утверждает позитивизм, в жизни человечества замечается известная последовательность в направлении мышления и мировоззрениях, соответствующая степени знаний, приобретаемых жизнью человечества. Но эта последовательность не уничтожает возможности периодических возвратов того или другого из предшествовавших направлений, так как уму нашему не суждено окончательно убеждаться в непреложности истины принятого им направления. Временные наши убеждения хотя и всегда сильнее наших знаний, но еще менее прочны, чем самые знания, приобретенные одним опытом. Поэтому, как бы ни было позитивно направление современных умов, нельзя отвергать склонность к возврату другого противоположного (позитивному) направления, хотя бы в отличном от прежнего виде. И вот я, не оспаривая достоинств позитивизма и его пригодности для многих высоких умов, считаю его, однако же, для моего собственного ума непригодным, и, чтобы я мог сделаться позитивистом, я должен бы изнасиловать себя.

Как бы размышление и опыт ни убеждали меня, что я не в состоянии выйти из очерченного вокруг меня волшебного круга, что я не могу разрешить ни одной из занимающих меня проблем, – я не могу осилить мои влечения и не заниматься тем, что я считаю вопросами моей жизни. Но я с тем вместе не доктринер. Стараться осмыслить произведение фантазии в разрешении этих вопросов для меня не значит отказаться вовсе от эмпирии или пренебрегать ею, считать ее выработанные уже наукою и опытом методы ложными или малозначащими и не признавать ее заслуг. Нет, я один из тех, которые еще в конце двадцатых годов нашего столетия, едва сошед с студенческой скамьи, уже почуяли веяние времени и с жаром предавались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простиралась дебри натуральной и гегелевской философии. Прослужив верою и правдою этому (тогда еще новому) направлению моей науки с лишком пятьдесят лет, я убедился, однако же, что для человека с моим складом ума невозможно оставаться по всем занимающим меня вопросам жизни в этом одном направлении, или, другими словами, сделаться позитивистом и сказать себе: «Стой! Ни шагу далее!»

Вот я при таком убеждении и позволяю моей фантазии, при помощи моих, каких ни на есть, знаний, доказывать – конечно, мне же самому, – что *raison d'être*[27 - Смысл, основание существования (фр.)] всего подвластно чувствам, опыту и наблюдению скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазии) да размышлению, да и то в самых ограниченных размерах. Не быв отъявленным позитивистом, я не могу искоренить в себе желания заглянуть за кулисы, и не только из одного любопытства, но и с (утилитарною) целью ограничения слишком назойливых претензий опыта на самовластие и вмешательство в решение вопросов, касающихся того закулисного резондэтра[28 - От фр. *raison d'être*].

Итак, начну с того, на чем остановился и что должно казаться с первого взгляда бессмысленным.

29 декабря

Метель утихла, небольшой NO, ?5°R. После утренней прогулки.

«*Ins Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist*»[29 - В природе нет созданного духа (нем.)]. Стихи принадлежат известному швейцарскому ученому и поэту

Альбрехту Галлеру (1706–1777), из его произведения «Лживость человеческих побуждений».]. Это великая, глубоко продуманная мысль великого естествоиспытателя. Да, как бы глубоко ни проникали внутрь организма опыт и наблюдение, внутрь самой природы им вход запрещен. Научный прогресс делает опыт и наблюдение более утонченными, изоцряет чувства наблюдателя, помогает заменять как можно лучше одно чувство другим, как, например, зрением – осязание; раскрывает механизм и химизм органической фабрики[30 - Здесь в подлиннике на поле неизвестно куда относящиеся слова: «Что живет? Поддержание цели бытия. Зерно и ферменты».]; но то, что заправляет ею, что направляет действующие в ней силы к охране и поддержанию бытия в известном, определенном заранее (типичном) виде, как *en gros*[31 - В целом (нем.)], во всей органической массе, так и в частностях – в каждой особи, в каждом органе, в каждой ткани, – это неподсудно изысканиям и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу, назовите как угодно, мы не можем, если бы и хотели. Наша мысль и фантазия не могут не стремиться привести в какую-либо связь проявление этого мирового начала с нашим собственным «я». Мы и мыслим потому, что находим мысль во всем окружающем нас. Без участия мысли и фантазии не состоялся бы ни один опыт, и всякий факт был бы бессмысленным. Наши мысль и фантазия, как причина, производящая и опыт, и наблюдение, не могут, однако же, по особенности своей природы ограничиться этими двумя способами знания. Ум, употребив опыт и наблюдение, то есть направив и заставив действовать известным образом наши чувства, потом рассматривает с разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствами впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии.

30 декабря

Снегу навалило в эти два дня (третьего дня и вчера) местами с человеческий рост. ?10°R.

Мне хочется доказать себе, что умственный мой процесс в настоящее время, когда я стараюсь уяснить себе мое мировоззрение, действует, в сущности, тем же способом, как и в то время, когда я ничего другого не хотел знать, кроме фактов. Мне кажется, что резкое различие, делаемое между суждениями *a priori* и *a posteriori*, или между дедуктивным и индуктивным способами, есть чисто доктринерское и справедливо разве в крайностях, похожих на безумие. В сущности, априорист, так же как и эмпирик, берут за исходную точку своих суждений факт – *factum*, нечто для них обоих неопровержимое и приобретенное

первоначально чувствами и опытом; различие только в том, что априорист дает впоследствии другое значение факту и опыту, и в приобретении своих знаний (которые без опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлениями, доставляемыми ему внешними чувствами. У него играют более важную роль не столько непосредственные чувственные впечатления, сколько заключения, сложившиеся в уме и фантазии из этих впечатлений. Но так называемый рациональный эмпиризм, к последователям которого я отношу и себя, также не довольствуется одним собиранием приносимых чувствами впечатлений. Изобретая различные способы наблюдения и опыта, контролируя один опыт другим, рациональный эмпирик неминуемо пускает в ход фантазию, и умозаключения его почти никогда не могут удержаться в непосредственной (прямой) связи с чувственными впечатлениями, доставляемыми прямо опытом и наблюдениями. Всегда есть пробел между умозаключением и чувственным фактом, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этот пробел, у нас нет другого средства, как повторение или скопление однородных фактов; а это средство подвергает нас заблуждениям, которые нередко вреднее увлечений фантазии, потому что обманывают нас своею кажущейся точностью.

Вообще, мне кажется слишком школьным и тот анализ нашего мышления, которым мы обыкновенно руководствуемся. Мы принимаем ощущения, внимательность (*perceptio*), память, ассоциацию идей, свойство означать ощущения членораздельными звуками, суждение, фантазию за совершенно отдельно и как бы независимо друг от друга действующие способности. Это, конечно, необходимо для уяснения себе умственного процесса. Но вполне независимые одна от другой функции этих способностей я считаю невозможными в нормальном состоянии. Правда, одна из них может быть сильнее развита, чем другая, и потому функция одной из этих способностей может быть для нас заметнее другой; но без ощущения немислимо мышление; без внимательности и памяти ощущаемое было бы одним эфемерным и бесследным возбуждением; а без фантазии не может обойтись и самый точный математический прием мышления. Правда, в пользу сепаратизма и локализации наших психических способностей говорит тот неоспоримый факт, что при полном почти недостатке одной из них другие продолжают еще действовать. Самая способность ощущения, некоторыми физиологами посаженная в зрительные бугры мозга, еще подразделяется и локализуется на несколько других категорий; так, зрительное ощущение должно иметь отдельное место в мозгу от ощущения слухового и т. п., и весьма вероятно, что различные ощущения, приносимые внешними чувствами, сосредоточиваются в различных порциях мозга. Но то, что в нас ощущает, то ощущающее начало есть нечто нераздельное, целое и едва ли когда в течение жизни изменяемое; его нельзя

локализовать в той или другой порции мозга и вряд ли можно назвать и самый мозг единственным его местопребыванием. Нам, конечно, кажется, что, сосредоточивая наше внимание на какой-либо предмет, смотря, например, на него в микроскоп или телескоп, мы только смотрим и превращаемся, так сказать, всецело в одно зрение. Но, вникнув глубже в этот процесс сосредоточенного зрения, мы убедимся, во-первых, что обращать внимание на что-либо, значит внимать самого себя, то есть направлять то ощущаемое начало, называемое «я», на впечатление, приносимое тем или другим органом чувства, смотреть этим «я» в глаз, слушать им же в ухо и, воспринимая в себя эти впечатления, в то же время судить о них, представлять их себе в том или другом виде, сравнивать с прежними ощущениями, принимаемыми некогда теми же чувствами; а все это необходимо требует, чтобы наше «я» беспрестанно приводило в действие то ту, то другую умственную способность и в одно и то же время.

Хотя в чувственных ощущениях, как, например, между зрением и слухом, можно определить краткие промежутки времени, отделяющие эти ощущения, если мы смотрим и слушаем (как астрономы) в одно и то же время; но едва ли мы найдем средство уловить промежутки, отделяющие ощущение, приносимое глазом, от того процесса, который совершается в то же самое время нашим «я» и который (процесс) называется теперь бессознательным мышлением – название, по-моему, нелепое, хотя и означающее действительно особый психический процесс; мне кажется, что его лучше признать безымянным или неудобоназываемым, чем давать ему бессмысленное прозвище.

Вот это quasi-бессознательное мышление, сопровождающее все наши чувственные ощущения в самый момент их проявления, и есть самое характеристическое свойство нераздельности и цельности нашего «я».

Как бы ни были отдельно локализованы наши чувства зрения, слуха, осязания, наша память, воображение, способность говорить, мыслить, хотеть, наше «я» есть в одно и то же время и нечто отдельное от них, и вместе с тем вмещающее все эти чувства и способности в себе. Наше «я» играет как будто на клавишах тех органов, функциям которых эмпиризм приписывает зрение, слух, память, слово и пр.; и, выражая своею игрою эти функции, наше «я» само участвует в них как нераздельное целое, связывая их и проявляя ими свое бытие.

Писано 5 января

С нового 1880 года по 5 января морозы ?10–16°R. Бури утихли. Ясно и безветренно. Вчера и сегодня иней на деревьях.

6 января

Ясный зимний день с густым инеем на деревьях. Утром 11°. После хорошей утренней прогулки.

Прогуливаясь, я вспомнил, что слишком односторонне в моем дневнике отнесся к знаменитому «*cogito, ergo sum*», утверждая, что его нужно бы было заменить «*sentio, ergo sum*». Обращая себя всего на какой-либо предмет, превращаясь, как говорится, в зрение или слух, наше «я», устремленное таким образом во внешний мир – в свое «не я», – продолжает, незаметно, может быть (при сильном сосредоточении внимания на внешний предмет), ощущать свое бытие; и это ощущение сопровождает его с колыбели, с того момента, когда оно начало отличать от себя свое «не я», вплоть до могилы; и даже при потере сознания, в бреду, во сне, это ощущение не может не продолжаться, хотя бы и в измененном виде. Но, кроме этого, не всегда для нас заметного, ощущения нашего бытия, незаметным оно может сделаться, как и все другие наши ощущения, чрез привычку к бытию; наше «я» возводится из простого ощущения на степень мысли в том случае, когда оно, воспринимая внешние (мировые) и органические (приносимые органами) впечатления, приводит их в связь с ощущением в себе присутствия своих умственных способностей: внимания, памяти, воображения, слова и мысли.

Тогда наше «я» делается вполне сознательным, осмысленным и прочувствованным. Кондильяк[32 - Э. Б. Кондильяк (1715–1780) – французский философ, стремился вывести все знания и духовные способности человека из ощущений.] утверждал, что человек без внешних чувств – статуя: это неправда; дыхание и без содействия внешних чувств должно ему сообщить ощущение бытия, поддерживая связь с внешним миром. Ощущение бытия непременно существовало бы и тогда, но было ли бы оно без содействия внешних чувств сознательным и осмысленным – это вопрос. Сознание в себе памяти, мысли, воображения, без сомнения, возбуждается и поддерживается внешними и органическими чувствами; но нет причины, мне кажется, отвергать возможность этого сознания и при отсутствии внешних и органических чувств.

Я отвлекся и зашел слишком далеко, желая себе доказать, что хотя я до моего мировоззрения дошел не настоящим рационально-эмпирическим (индукционным) способом, но тем не менее я считаю мое мировоззрение для меня равносильным факту.

10 января

Продолжаются холода в 16–12°R. Сегодня 7° и снег. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговке в ходу.

Да, равносильным факту – фактическим – по силе убеждения я считаю мое воззрение. Что такое факт? Если держаться буквального смысла, то это то, что сделано, – *factum*, что совершено (поэтому *fait accompli*[33 - Совершившийся факт (фр.)] – плеоназм[34 - Плеоназм (гр. *pleonasmus* – излишество) – речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных со смысловой точки зрения.]). В этом смысле факт должен быть чувственным. И действительно, если самое наше бытие есть ощущение, то в нас нет ничего, что бы не зависело первоначально от впечатлений, приносимых ощущениями.

Все, обнаруживаемое в нас бытием, обнаруживается посредством ощущений, т. е. посредством связи с внешним миром. Тем не менее следствия и продукты впечатлений различны до крайности. Одни из них способны возбуждать в нас одно чувство бытия, другие возбуждают бессознательное мышление и разного рода рефлексy; но есть и такой род впечатлений, может быть, вернее – представлений, которые, несмотря на первоначальное их происхождение от чувственных ощущений, приводят в действие исключительно сознательные наши умственные способности: память, мышление и фантазию (воображение, способность сочетать и творить новые представления). Хотя мы помним, мыслим и воображаем при каждом действии наших органов чувств, но этот чувственный и обыкновенно бессознательный процесс воспоминания, мышления и представления (воображения) прекращается, как скоро то или другое чувство перестает действовать; другой же, резко отличающийся от этого, процесс воспоминания, мышления и воображения, всегда сознательный, совершается и без непосредственной помощи чувств.

Итак, всякий факт должен быть произведением внешних, на нас действующих впечатлений и наших чувственных ощущений, между тем как наши внутренние

ощущения, присутствующие в нас и без прямого содействия внешних впечатлений, могут не только представлять нам факты с различных точек зрения, но и открывать нам истины. Факт хотя и считается как бы за истину, но никто не называет математические аксиомы фактами. Почему? Казалось бы, такой факт, как солнце на небе, так же точно истинен и неопровержим, как и всякая математическая аксиома. Да, есть действительно истинные факты и фактические истины, но факт все-таки не истина, и истина не факт. Солнце на небе потому истинный факт, что всякий может его проверить чувствами, но такая математическая (астрономическая) истина, что солнце и сегодня, и завтра, и целые годы взойдет и зайдет в известном определенном месте на горизонте, не требует вовсе чувственной проверки; это основано и не на одной теории вероятности, а на знании и соображении, при участии и всех других умственных способностей (памяти, фантазии); основа этого знания, правда, также фактическая; не видав никогда солнца и звезд, нам не пришло бы на ум и все устройство нашей планетной системы; но математические вычисления до того различны от чувственных наблюдений, что могут определить а priori место для планет, еще не открытых наблюдениями. Математическая аксиома, что две величины, равные порознь третьей, равны между собою, хотя и наглядна, т. е. может быть объяснена чувственным опытом, но, в сущности, она основана на соображении, а не на опыте; чтобы понять ее, нет надобности иметь пред глазами известные величины. Факт уже и тем отличается от истины, что свойства его различны, а неизвестная нам сущность истины всегда одна и та же. Только тот факт, который есть, был и будет, был бы истиною. Но такого мы не знаем; если же убеждаемся в необходимости или возможности и нефактического существования того, что всегда было и будет, то это убеждение и есть для нас истина, хотя, очевидно, нефактическая. Очевидно также, что для убеждения в такой истине нам недостаточно одного рассудка – необходимо еще мощное содействие фантазии.

Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое – фантазией при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фантазии не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются. Между тем нередко и в жизни, и в науке, и даже в искусстве слышатся возгласы против фантазии, и не только против ее увлечений, но и против самой нормальной ее функции. Для современного реалиста и естествоиспытателя нет большего упрека, как то, что он фантазирует. Но в действительности только тот из реалистов и эмпириков заслуживает упрека в непоследовательности, кто хотя на один шаг отступает от указаний чувственного опыта, направляемого и руководимого умом и фантазией. Вообще доктрина, отделяющая искусственными перегородками

функции наших умственных способностей одну от другой, приводит к тому, что мы и во всех наших произведениях стремимся так же резко отличать проявления каждой из них, как будто бы можно было умствовать, не воображая, и воображать без размышления. Стоит только вспомнить, что самую простую выкладку чисел нам нельзя сделать, не приводя в действие и нашу память, и воображение, и рассудок, хотя нам и кажется, что все наше «я» как бы погрузилось в числа при выкладке.

14 января

Все эти дни мороз в 10–13°R; только вчера сильная метель при NW и ?4°R; сегодня все еще ветрено (NW) при ?8–9°R, но ясно и много наваяло снегу.

Все еще хочу себе доказать, что я не должен считать мое мировоззрение одним продуктом досужей фантазии потому только, что оно не основано на прямом и непосредственном опыте. Не мне, посвятившему всю жизнь, и именно самую лучшую часть жизни, рациональному эмпиризму, – не мне, говорю, отвергать значение опыта; но и не мне сомневаться в значении слов первого Гиппократова афоризма: «*experientia fallax, iudicium difficile*»[35 - Опыт обманчив, суждение затруднительно (лат.)].

Когда лета не располагают уже к увлечению, то начинаешь понимать, как легко можно увлечься не одними мечтами, но и тем, что так трезво, точно и положительно, как опыт и факт. Есть вещи на свете, к которым и такое надежное средство, как опыт, неприменимо, а между тем эти вещи – это вопросы жизни, без разрешения которых для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется; а к жизни обращаешься невольно с упреком, так хорошо прочувствованным поэтом:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, на что ты мне дана?

Да, оргия, грубейшие средства самозабвения и, наконец, самоубийство неминуемо сгубят желающего опытом разрешить загадку жизни. Правда, крепкие, здоровые, положительные умы могут жить и прекрасно действовать, отбросив в сторону всякую попытку к разрешению томительного вопроса жизни. Но горе той личности, которая возмечтает о себе, что она-то и есть именно *esprit fort*[36 - Сильная духом (лат.)], не нуждающийся в разрешении подобных вопросов. Аскет Филарет[37 - Филарет (1783–1867) – митрополит Московский.]прекрасно с своей точки зрения возражал Пушкину на его упрек жизни, и именно потому прекрасно, что он (Филарет) уяснил себе не опытом жизненную проблему; и как бы это уяснение ни было односторонне, оно мощнее, а главное, человечнее бессильного ропота на жизнь, что не раскрывает пред нами своей тайны так, как бы мы этого хотели. А мы хотели бы, чтобы это было так же наглядно и осязательно, как ее чувственные и индивидуальные проявления.

Я полагаю, что все мы, последователи Веруламского Бэкона, придаем слишком большое значение предложенному им (индуктивному) способу исследования. Этот способ вовсе не какое-нибудь новое открытие особой деятельности нашего ума. В обыкновенной жизни все всегда и до Бэкона изыскивали и исследовали индуктивным способом; но никто, я полагаю, и ни сам Бэкон не считал этого способа единственно возможным для открытия истины. Главная заслуга Бэкона – это *noli jurare in verba magistri*

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Н. И. Пирогов переводит эту фразу так: «Пусть звучит труба страшного суда, я предстану с этой исповедью пред Верховным Судьею и громко воскликну: вот каков я был здесь, вот что я делал, вот как я мыслю!!!» (фр.).

2

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим. 7, 19).

3

Я мыслю, следовательно, я существую (лат.).

4

Я ощущаю, следовательно, я существую (лат.).

5

Сердце согревает, легкое говорит, желчь вызывает гнев, селезенка заставляет смеяться, печень учит любить (лат.).

6

Жизненного правила (лат.).

7

Исходного положения (лат.).

8

Этим самым (лат.).

9

С этим – следовательно, по этой причине (лат.).

10

Ф. Биша (1771–1802) – французский анатом и физиолог, автор учения о тканях человеческого тела.

11

Крайнее средство (лат.).

12

Бастард (нем. Bastard) – биологический гибрид от межвидовых и межродовых скрещиваний животных.

13

С этим и после этого – следовательно, по этой причине (лат.).

14

Своего рода, своеобразный (лат.).

15

Путем контакта (лат.).

16

Здесь в подлиннике на поле несколько строк, неизвестно куда относящихся: «Но цели выше в жизни. Ноги ходят. Что за функции, убивающие свой орган произвольно».

17

Норд-ост (направление ветра).

18

Развитие (лат.).

19

Тканевых.

20

Непременное условие (лат.).

21

Непознаваемое (лат.).

22

Вместе, целиком (фр.).

23

Ю. Либих (1803–1873) – немецкий химик, явился реформатором в области органической, физиологической и сельскохозяйственной химии.

24

Не он, а его отец был материалистом (нем.).

25

Сравнение это не доказательство (фр.).

26

Внутреннее противоречие (лат.).

27

Смысл, основание существования (фр.).

28

От фр. *raison d'être*

29

В природе нет созданного духа (нем.). Стихи принадлежат известному швейцарскому ученому и поэту Альбрехту Галлеру (1706–1777), из его произведения «Лживость человеческих побуждений».

30

Здесь в подлиннике на поле неизвестно куда относящиеся слова: «Что живет? Поддержание цели бытия. Зерно и ферменты».

31

В целом (нем.).

32

Э. Б. Кондильяк (1715–1780) – французский философ, стремился вывести все знания и духовные способности человека из ощущений.

33

Совершившийся факт (фр.).

34

Плеоназм (гр. pleonasmos – излишество) – речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных со смысловой точки зрения.

35

Опыт обманчив, суждение затруднительно (лат.).

36

Сильная духом (лат.).

37

Филарет (1783–1867) – митрополит Московский.

Купить: https://tn.knigapoisk.com/pirogov_nikolay/byt-hirurgom-zapiski-starogo-vracha

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)